

ДИАГНОЗ КАК СТАРТОВЫЙ ВЫСТРЕЛ



Сергей Ефремов

Сергей Ефремов

Диагноз как стартовый выстрел

«Автор»

2026

Ефремов С.

Диагноз как стартовый выстрел / С. Ефремов — «Автор», 2026

Когда врач сообщает, что зрение необратимо сужается до узкого тоннеля, а слух уже много лет приглушён, он не впадает в отчаяние. Он продаёт квартиру, покупает билет в один конец и отправляется в путешествие, чтобы успеть вобрать в себя мир, пока сетчатка ещё различает свет. Марракеш и Сахара встречают его охрой и алым закатом, Патагония — синевой древнего льда, Токио — электрическим неоном и случайной улыбкой, которая останется с ним навсегда, Варанаси — шафраном погребальных костров, а норвежский фьорд — изумрудным безмолвием северного сияния. Каждый новый город становится экспонатом его внутренней галереи — той, что останется, когда внешний свет погаснет. Это не история о чудесном исцелении. Это исповедь человека, который теряет зрение, чтобы научиться видеть по-настоящему. Путешествие на край света и вглубь себя, где темнота оказывается не финалом, а началом новой оптики. Роман о том, как звук, запах, прикосновение и память становятся глазами, а самый яркий свет загорается внутри.

© Ефремов С., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Глава 1.	5
Глава 2.	7
Глава 3.	9
Конец ознакомительного фрагмента.	11

Диагноз как стартовый выстрел

Глава 1.

Я начал собирать чемодан в полной темноте, хотя ещё мог видеть. Это была тренировка. Я задёрнул плотные шторы, выключил лампу, заклеил светодиоды на зарядках кусками чёрной изолянт — и остался наедине с самим собой, на ощупь. Пальцы скользили по вещам, как по шероховатой карте будущего. Свитер — я узнал его по колючему теплу, связанному мамой ещё до того, как мир стал тише. Холодок бегунка на куртке. Контур паспорта — гладкий, с чуть задраным уголком, по которому я всегда его находил. Я выстукивал предметы, как слепой часовщик, и запоминал их заново, перешивая чувства с глаз на подушечки пальцев. Это не было игрой. Это было репетицией финала.

Мой офтальмолог, сухой человек с запахом больничного мыла, назвал это «синдромом Ашера». Я сидел в его кабинете, вглядываясь в размытое пятно лица, и вспоминал, что слово «пигментный ретинит» звучит как название забытого стихотворения. Врач говорил о сужающихся полях, о ночной слепоте, которая подбирается с периферии, как туман с моря. Он сказал: «Вам нужно готовиться. Вы ещё видите, но зрение будет уходить. Мы не знаем точно, с какой скоростью. Возможно, несколько лет. Возможно, меньше». Я смотрел на таблицу с буквами — некоторые уже прятались в серой дымке, словно занавес медленно затягивал сцену. В тот момент я впервые осознал, что мир не исчезнет мгновенно, а будет гаснуть постепенно, как закат, который некому остановить.

Слух я терял с детства — сначала высокие частоты, птицы, скрипичные ноты, шёпот. К подростковому возрасту я носил аппараты за ушами, маленькие прозрачные улитки, усиливающие реальность. Я привык жить в слегка приглушённом мире, где голоса иногда превращались в неразборчивый гул, зато вибрация шагов говорила больше, чем слова. Я стал читать по губам, по жестам, по глазам. Ирония заключалась в том, что именно глаза были моей опорой, моим основным окном. И теперь судьба решила закрыть его на засов.

Когда врач закончил говорить, я вышел на улицу, в осенний город, и вдруг заметил то, чего не замечал годами. Кленовый лист на асфальте, пронзительно жёлтый с красными прожилками. Трещину на витрине, похожую на молнию. Улыбку прохожей девушки, быструю, случайную, адресованную не мне, но застрявшую в памяти, как драгоценный осколок. Я стоял посреди шумной улицы — звук для меня всё равно был смазанным фоном — и чувствовал, как каждая деталь впечатывается в сознание с яростью прощания. Именно тогда родилась мысль, сперва невнятная, как сигнал в тумане: я не останусь здесь, в коробке квартиры, дожидаясь тьмы. Я пойду ей навстречу, но по своим правилам.

В ту ночь я достал старую карту мира, которую когда-то повесил на стену для красоты, и обвёл пальцем контуры. Я решил уехать не для того, чтобы сбежать от слепоты, а чтобы опередить её. Пока мои глаза ещё ловят свет и тени, пока я отличаю лазурь от бирюзы, а охру от терракоты, я наполню внутренний резервуар до краёв. Я хотел увидеть красный цвет заката в Сахаре — не на фотографии, а кожей, лёгкими, всем существом. Синеву ледников Патагонии, трескающуюся под солнцем. Улыбку незнакомки в токийском переулке, освещённом неоновым светом. Водопад, падающий в изумрудную чашу. Лица, ландшафты, краски. Я стану коллекционером света, а мои воспоминания — единственной галереей, которая останется, когда погаснет экран.

Утром я написал заявление на работе. Продал квартиру — быстро, не торгуясь, потому что время стало валютой более твёрдой, чем деньги. Оставил только самое необходимое: рюкзак, диктофон, куда я наговаривал описания того, что видел (голос останется, даже когда глаза предадут), и блокнот для тактильных отпечатков — я вдавливал в страницы листья, песок,

клички карт, создавая азбуку на ощупь. Билеты я купил в один конец: сначала Марракеш, оттуда в Сахару, потом — долгий путь на юг, в Патагонию, и дальше на восток, в Японию. Маршрут выстраивался не по логике географии, а по градации цветов и чувств. Я хотел начать с огня и охры, перейти к чистоте льда и завершить смесью электрического хаоса и древних храмов.

И вот я стоял посреди пустой комнаты, где совсем недавно была моя жизнь, и заканчивал собирать чемодан в темноте — тренируясь. Я провёл ладонью по стене, прощаясь с её шершавостью, по дверному косяку, по выключателю, который больше не понадобится. Страх был, горький и липкий, но я завернул его в свитер, прижал сверху стопкой футболок и застегнул молнию. Моё путешествие — это не бегство от болезни, не поиск чуда. Это письмо самому себе в вечную ночь, длинное послание, написанное образами, звуками (да, теми остатками, что ещё пробиваются), запахами и прикосновениями. И когда адресат получит его — в час, когда свет окончательно погаснет, — он распечатает конверт и увидит мир, который я сохранил.

Такси везло меня в аэропорт по мокрому от рассветного дождя шоссе. За окном проносились силуэты деревьев, размытые, как моё будущее. Но в той полосе неба, что ещё была видна чётко, прямо по курсу, разгоралась тонкая оранжевая линия. Первый рассвет моего великого прощания. Я смотрел на него, не моргая, впитывая каждую секунду, и молчал — потому что этот свет предназначался не моему спутнику-таксисту, не соцсетям, не прошлому. Он предназначался тому, кем я стану, когда всё исчезнет. Тому, кто откроет глаза внутри и увидит золото Сахары, ультрамарин Патагонии, улыбку незнакомки. И поймёт: я был здесь. Я успел.

Самолёт оторвался от земли, унося меня к первому пункту на моей карте света. Гул двигателей был для меня лишь низкой вибрацией, но зато иллюминатор дарил облака — бесконечные, сияющие белизной. Я прижал ладонь к холодному стеклу, прощаясь с землёй, и закрыл глаза, чтобы увидеть то, что ждёт впереди.

Глава 2.

Марракеш встретил меня запахом. Запах был густым, слоистым, как старый ковёр: пряности, жжёный сахар, разогретая пыль, дымок жаровен, аромат кожаных лавок и ещё что-то неуловимо сладкое — возможно, гниющие апельсины во дворах. Я стоял на пороге аэропорта и втягивал носом этот воздух, потому что зрение уже обманывало — по краям мира разливался туман, мягкий, но настойчивый, словно кто-то разбавлял реальность молоком. Зато запахи стали моими поводьями, они рисовали карту города точнее, чем глаза.

Таксист высадил меня у входа в медину, старый город, и я шагнул в лабиринт. Узкие улочки сжимались, как горло, и тут же расширялись в крошечные площади, залитые солнцем. Слуховые аппараты ловили хаос: крики зазывал, цоканье копыт мулов, треск мотоциклов, звон медных тарелок, гортанную речь. Я почти не разбирал слов — высокие частоты были потеряны, — но ритм, интонации, сам воздух вибрировали так, что я чувствовал их кожей. А глаза, мои умирающие глаза, жадно ловили цвет. Охру стен, бирюзу керамики, киноварь ковров, развешенных на каменных оградах. Каждый оттенок врезался в память, как игла в фонограф. Я шёл и записывал: «Охра — это тепло, отражённое от глины. Бирюза — холодок тени в полдень. Киноварь — крик, застывший в шерсти».

На площади Джемаа-эль-Фна я остановился. Поле зрения сузилось, и теперь я видел мир как сквозь подзорную трубу: яркий центральный круг и размытая периферия. Я мог смотреть только прямо перед собой, переводя взгляд, как прожектор, с одного островка жизни на другой. Вот заклинатель змей поднял кобру — чёрный силуэт на ослепительном небе. Вот водонос в красном одеянии, увешанный медными чашами, сверкающими, как солнце. Вот дым от шашлычных, поднимающийся спиралью, и в этом дыму я видел не просто серый цвет, а градиент от серебра до антрацита. Я фотографировал не на камеру, а в собственную галерею, слой за слоем, кадр за кадром. Я знал, что скоро смогу пересматривать эти картины только изнутри.

Вечером я сидел на крыше риада, маленького гостевого дома с внутренним двориком. Солнце садилось, и город менял палитру: охра становилась розовой, затем лиловой, затем ультрафиолетовой, как синяк на теле дня. Я достал диктофон и наговорил шёпотом: «Закат в Марракеше. Минарет Кутубии — чёрный силуэт на апельсиновом небе. Ласточки чертят круги. Звук муэдзина — низкая вибрация, похожая на виолончель. Я слышу только басы, но этого достаточно. Я запомню это. Я запомню». Слова были неуклюжими, но я знал, что когда-нибудь они оживят картинку, станут ключом к запертой комнате воспоминаний.

На следующий день я отправился в Сахару. Дорога заняла весь день, и по мере того, как мы удалялись от города, мир становился проще и чище. Горы сменились каменистой равниной, затем песком. Я смотрел в окно внедорожника, и передо мной разворачивалась симфония жёлтого и коричневого. Я учился различать оттенки песка: бледно-сливочный у обочины, золотисто-медовый на барханах, тёмно-горчичный в тени. Я повторял про себя эти названия, как заклинание, чтобы не забыть, чтобы создать словарь для того человека, которым я стану, когда свет погаснет.

В лагерь мы прибыли к вечеру. Бедуины развели костёр, и я сел прямо на песок, ещё тёплый от дневного солнца. И тогда начался закат. Тот самый, ради которого я приехал. Сначала небо налилось расплавленным золотом, потом потекло апельсиновым соком, потом взорвалось алым, как гранатовые зёрна. Барханы окрасились в цвет красного дерева, а тени стали фиолетовыми, глубокими, как чернила. Я смотрел, не моргая, и чувствовал, как по щекам текут слёзы — не от ветра, а от переполненности. Я видел красный цвет заката в Сахаре. Не на фотографии, не на экране, а своими глазами, которые ещё были живы. Я впитывал этот цвет, как воду, как последнюю воду перед долгой засухой. В тот миг я понял: у каждого цвета есть вкус, и красный — это вкус жизни, пульсирующей, горячей, уходящей.

Когда стемнело, я сделал то, чего не мог сделать в городе: я посмотрел на звёзды. В пустыне нет фонарей, нет светового загрязнения, и небо открылось мне во всей своей бездонности. Но мои глаза, мои предательские глаза, уже не могли видеть звёзды так, как раньше. Млечный Путь, который должен был сиять рекой алмазов, превратился в размытое светлое пятно, словно кто-то стёр его ладонью. Я смог различить только самые яркие точки — Сириус, Вегу, Арктур — да и те дрожали и расплывались, как отражения в воде. Периферийное зрение, которое отвечает за ночное видение, умирало первым, и я знал это. Но я не отчаивался. Я лёг на песок, раскинул руки и представил звёзды такими, какими помнил их с детства. Я закрыл глаза — и внутри, под веками, зажглись мои собственные созвездия. Память уже начинала заменять реальность.

Ночь в Сахаре была холодной и безмолвной. Без слуховых аппаратов я почти ничего не слышал, только глухой, далёкий гул собственной крови. Но я оставил аппараты включёнными, и они доносили до меня тишайший звук: песок, перекачиваемый ветром. Ш-ш-ш-ш, как дыхание спящей земли. Я записал в блокноте: «Песок звучит. Это шёпот времени. Я услышал его». Рядом я приклеил кусочек скотча с настоящим песчинками, которые прилипли к пальцам. Тактильная коллекция пополнилась.

Утро я встретил на вершине бархана. Солнце поднималось быстро, словно выныривало из-под земли, и заливало пустыню жидким огнём. Я стоял босиком, ощущая ступнями прохладу ночного песка, которая стремительно превращалась в тепло. Мой прожекторный взгляд выхватил цепочку верблюжьих следов, убегающих за горизонт, одинокую былинку, трепещущую на ветру, ящерицу, замершую на камне. Всё это было простым, вечным, совершенным. Я сказал вслух, обращаясь к себе-будущему: «Ты проснёшься однажды в темноте. Но ты вспомнишь этот песок, этот ветер, этот свет. Ты увидишь всё это снова. Я обещаю тебе».

Возвращаясь в Марракеш, я остановился в придорожной чайной. Там, в тени глинобитной стены, сидела женщина. Её лица я не мог рассмотреть чётко — оно было размытым пятном, как и всё на расстоянии вытянутой руки, — но я заметил, как она двигается, как поправляет платок, как улыбается, показывая золотой зуб. Она поймала мой взгляд и улыбнулась шире, не смущаясь. «Ты потерялся, чужеземец?» — спросила она на ломаном французском. Я ответил: «Нет. Я нашёлся». Она рассмеялась, и этот смех — низкий, гортанный, вибрирующий — добавил в мою коллекцию ещё один оттенок. Я назвал его «голос охры».

Вечером, перед вылетом в Южную Америку, я сидел в аэропорту и перебирал записи. Марракеш и Сахара подарили мне охру, бирюзу, киноварь, алый, золотой, чёрный. Но главное — я начал слышать мир по-новому. Когда один канал закрывается, другие расширяются. Моя слепота ещё не наступила, но она уже научила меня вниманию. Вниманию, которого я не знал раньше, когда зрение работало идеально. Тогда я просто смотрел, теперь же я впитывал.

Самолёт на Буэнос-Айрес взлетел в ночь. В иллюминаторе не было звёзд — только тьма и редкие вспышки навигационных огней. Но внутри меня сиял целый мир, сохранённый, каталогизированный, живой. Моя внутренняя галерея пополнилась первым залом. Я назвал его «Охра и пламя». Впереди ждала синева ледников Патагонии, и я уже предвкушал, как положу этот холодный цвет рядом с горячим песком Сахары. Они будут контрастировать, спорить, но в моей памяти им предстояло ужиться навечно.

Я закрыл глаза и, засыпая, видел барханы и закат. Красный цвет пульсировал под веками, как обещание. Как клятва. Я не забуду. Я ни за что не забуду.

Глава 3.

Самолёт заходил на посадку в Эль-Калафате, и я впервые увидел Патагонию — не целиком, а фрагментами, как мозаику, которую кто-то разбил и склеил наспех. Мой прожекторный взгляд выхватывал куски реальности: охряную степь, исчерченную тенями облаков; бирюзовую ленту реки; белые пики Анд на горизонте, похожие на сахарную глазурь. Всё остальное тонulo в молочной дымке, которую мои глаза уже не могли пробить. Я прижимался лбом к иллюминатору и водил головой, как перископом, сканируя ландшафт. Соседка справа — пожилая аргентинка с запахом лаванды — спросила, не плохо ли мне. «Нет, — ответил я. — Просто хочу запомнить».

Аэропорт был крошечным, деревянным, продуваемым всеми ветрами. Ветер Патагонии — это не метеорологическое явление, это стихия. Он набросился на меня, едва я вышел из дверей, толкнул в спину, растрепал волосы, засвистел в слуховых аппаратах — низкий, утробный гул, похожий на звук виолончели. Я рассмеялся. Ветер был настолько сильным, что я чувствовал его вкус — ледяной, с примесью пыли и далёкого снега. «Ветер Патагонии, — наговорил я на диктофон. — Вкус: холодное железо. Звук: басовая струна. Цвет: невидимый, но осязаемый всей кожей».

Городок Эль-Калафате лежал на берегу озера Архентино, и озеро это было цвета, которого я раньше не встречал. Не голубой, не синий, не изумрудный — а молочно-бирюзовый, словно кто-то растворил в воде драгоценный камень. Мне объяснили, что это ледниковая мука — мельчайшие частицы породы, перетёртые льдом в пыль. Я стоял на берегу и смотрел, сузив поле зрения до единственной точки: вода, вода, вода, до горизонта. А потом перевёл взгляд выше и увидел их — горы. Снежные шапки, острые, как зубы дракона. И за ними, где-то там, лежал ледник Перито-Морено, главная цель моего патагонского паломничества.

Ночь я провёл в маленькой гостинице, где стены дрожали от ветра. Слуховые аппараты я снял и погрузился в почти полную тишину — только глухой стук сердца и иногда, как далёкий гром, удары воздуха о стекло. В темноте я совсем не видел. Не так, как раньше — когда глаза привыкали и начинали различать контуры, — нет, теперь ночь была абсолютной. Сетчатка больше не включала ночной режим, палочки умирали быстрее колбочек, и я знал это из медицинских статей. Знал, и всё равно было страшно. Я лежал с открытыми глазами и не видел ничего — ни потолка, ни окна, ни собственной руки перед лицом. Только тьма, плотная, как бархат. И в этой тьме я начал перебирать воспоминания. Достал из внутренней галереи закат в Сахаре — красный, живой, пульсирующий. Добавил к нему киноварь марракешских ковров. Охру стен. Бирюзу керамики. Я держал эти образы перед собой, как свечу, и тьма отступала. Не физически — внутри. Я понял: моя коллекция работает. Она не просто архив, она — оружие против страха.

Утром микроавтобус повёз меня к леднику. Дорога петляла среди холмов, и с каждым километром воздух становился холоднее, а краски — скупее. Зелень травы поблекла до серовато-жёлтого, небо затянуло молочной пеленой, и вдруг — он. Ледник. Сначала я не понял, что вижу: мне показалось, что на горизонте встала гигантская стена из голубого хрусталя. Она была выше скал, выше облаков, она заслоняла полмира. Автобус остановился, и я вышел.

Перито-Морено — это не лёд. Это живое существо. Дышащее, стонущее, живущее по своим законам. Он рос и двигался, и каждые несколько минут от его тела откалывались глыбы размером с дом и падали в озеро с таким звуком, будто рвалась сама ткань реальности. Удар, низкий, раскатистый, как пушечный выстрел; эхо, отражающееся от гор; всплеск воды, взлетающий выше скал; и снова — тишина, наполненная ветром и ожиданием.

Я стоял на смотровой площадке и не мог оторвать взгляд. Синева ледника — та самая, ради которой я пересёк океан, — была неопишима. Это был не один цвет, а целая симфония: от

молочно-белого у поверхности до аквамаринového в трещинах, от лазурного в тенях до ультрамаринového в глубине ледяных пещер. Там, где лёд сжимался тысячелетиями, он становился синим — таким глубоким и чистым, каким не бывает ни небо, ни море, ничто в мире. Это была синева вечности, синева времени, застывшего в кристаллах.

Я достал диктофон. Горло перехватило, но я заговорил: «Ледник Перито-Морено. Цвет: синий. Сотня оттенков синего. Белый — только обман, только верхний слой. Глубина цвета — это глубина времени. Снег падал тридцать тысяч лет назад и стал этим льдом. Тридцать тысяч лет. А я стою здесь и вижу его. Я, чьи глаза умирают, вижу тридцатитысячелетний лёд. Это больше, чем справедливость. Это дар». Я выключил запись и долго молчал.

На площадке было много туристов — щёлкали фотоаппараты, звучала разная языковая речь, дети кричали от восторга при каждом обвале льда. Но я стоял в стороне, один, и вглядывался в ледник с жадностью, которая сама себя пугала. Я переводил взгляд медленно, сантиметр за сантиметром, сканируя ледяную стену, и запоминал: вот эта трещина похожа на молнию, вот этот грот светится, как витраж в соборе, вот эти пики остры, как иглы, а эти — сглажены ветром. Я знал, что больше никогда не увижу этого. Даже если проживу сто лет и сто раз вернусь — этого ледника уже не будет. Он изменится, растает, родится заново. И меня, смотрящего на него сейчас, тоже не будет. Тот, кем я стану в темноте, будет помнить только то, что я сохраняю.

Я вспомнил Сахару. Жар, песок, красный закат. Как странно: тогда я думал, что красный — это цвет жизни. Но теперь, стоя перед ледником, я понял, что синий — это тоже цвет жизни, только другой. Медленной, глубокой, застывшей. Красный — это кровь, которая бежит. Синий — это лёд, который ждёт. И оба они прекрасны, и оба они необходимы. Моя галерея пополнялась контрастами, и я чувствовал, как внутри растёт что-то похожее на благодарность.

Я спустился с площадки и нашёл тропу, ведущую ближе к берегу. Ветер там был ледяным, режущим, но я не уходил. Я стоял, пока пальцы не онемели, и смотрел, как от ледника откалывается новая глыба. Она падала медленно, словно в невесомости, и вода принимала её с глухим рокотом. Брызги долетали до меня, и на губах оставался вкус — пресный, холодный, древний. Я лизнул губу и подумал: «Я пробую время на вкус».

В сувенирной лавке у подножия смотровой площадки я купил открытку с фотографией ледника. Не для того, чтобы отправить — у меня не осталось адресов, — а чтобы приклеить в блокнот. Рядом я написал: «Синевя Перито-Морено. 12 марта, 14:30. Облачно. Ветер западный, шквалистый. Слышал пять обвалов. Видел: лазурь, ультрамарин, аквамарин, индиго, кобальт. Руки замёрзли. Сердце полно». Ниже я приклеил крошечный кусочек льда — он упал на тропу, и я подобрал его, завернул в фантик от жвачки. Лёд растает, но отпечаток в блокноте останется: мокрое пятно, которое высохнет, как слёзы, но я буду знать, что оно здесь было.

Вечером я вернулся в гостиницу, сел у окна и стал смотреть на озеро. Свет угасал, и мир снова начинал размываться. Я включил диктофон и наговорил ещё несколько заметок — для себя-будущего, для того, кто будет слушать в темноте. Я описывал ледник так подробно, как только мог: его изгибы, его трещины, его цвета, его голос. И голос ледника — да, у него был голос, низкий гул, вибрация, которую я чувствовал грудью, а не ушами. Он звучал, как орган в пустом соборе, как басовая струна контрабаса, как дыхание спящего великана. Я сказал в диктофон: «Если ты забудешь всё, вспомни этот звук. Он будет значить, что ты был здесь. Что ты стоял на краю света и слушал, как говорит вечность».

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.